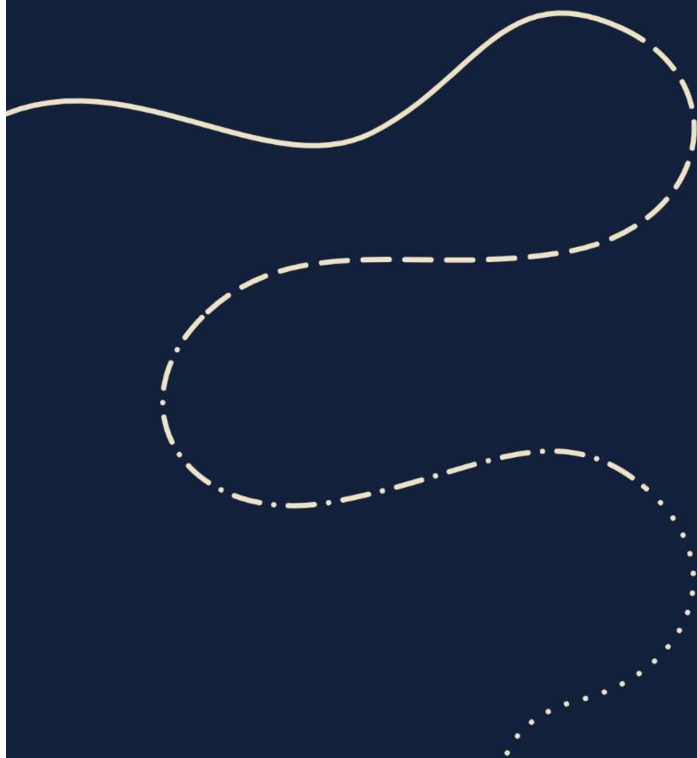


НАСТАСЬЯ ГЛИНСКАЯ

Линия жизни

РОМАН



Настасья Глинская

Линия жизни

<https://litres.ru/74657552>

SelfPub; 2026

Аннотация

Линия жизни

Роман Корнеев в восемнадцать лет уехал из деревни к сестре в город и через месяц понял, что он красивый. Это оказалось его главным достижением. Женщины выбирали его, как вещь из витрины, и он брал всё, что давали, почти ничего не делая сам.

Сын Егор растёт умным, а отец думает, что ум в их семье достался не тому. Потом трасса, ночь и чужая вина, которую Роман взял на себя. Тюремная прачечная. Возвращение в деревню, где есть козы, куры и время, которого слишком много.

За перебором бывает недобор. Болит живот, который ему называют язвой. Болит злость, которая съедает всё, что подходит близко. Болит то, что в сыне он наконец видит себя, только лучше.

Роман читал в детстве всё, что было в сельской библиотеке, а потом газетные подшивки. Поэтому свою жизнь он раскладывает по чужим жанрам: толстовскому, женскому роману, разделу «Происшествия». Жанр не спасает, но даёт точку, с которой можно посмотреть.

Содержание

Линия жизни	4
Часть первая. Мёд	5
Глава 1. Печь	5
Глава 2. Автобус	12
Глава 3. Лена	18
Глава 4. Кудри	23
Глава 5. Ирина	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Настасья Глинская

Линия жизни

Линия жизни

Настасья Глинская

Часть первая. Мёд

Глава 1. Печь

Просыпаюсь в пять. Будильника в доме нет, будит другое: под правым ребром кто-то с вечера начал вкручивать лампочку и к утру докрутил. Лежу и слушаю. Дом остыл. Печь за ночь отдала всё, что могла, и теперь стоит белая и равнодушная, как родственница на поминках, которая уже всё сказала. За окном темно до самого леса. У Михалыча брешет собака, без злости, для порядка.

Таблетки лежат на блюде у кровати. Блюде мамино, с золотой каёмкой. Каёмка стёрлась в одном месте, там, где мама держала его большим пальцем. Я кладу таблетку под язык и жду. Двадцать минут. Я знаю это время наизусть, как молитву, которую никогда не учил.

В инструкции написано: «Применяется для купирования болевого синдрома сильной и средней интенсивности». Я прочитал её три раза, как читаю всё, что попадает в руки. Слово «купирование» мне нравится. Как будто боль сажают в купе и отправляют куда-то по железной дороге. Только поезд каждый раз возвращается.

В районной больнице мне сказали: обострение язвы. Сказала молодая врачиха, Дарья Алексеевна, у неё были хоро-

шие руки и плохая привычка смотреть в окно, когда говорит что-нибудь важное. Она долго листала мою карту, дольше, чем нужно, чтобы прочитать слово «язва». Потом посмотрела на берёзу за стеклом и сказала: покой, диета, вот это от болей. И выписала рецепт, за которым в аптеке пришлось расписываться.

Язву лечат. Меня не лечат. Меня обезболивают. Это два разных глагола, и между ними вся разница.

Таня по телефону говорит то же самое слово, «язва», и тем же голосом. Таня тридцать лет работает медсестрой в областной больнице и знает, как сказать человеку «всё хорошо», чтобы он поверил. Мне она так не говорит. Мне она говорит «всё нормально, Ром», и это на одно слово хуже. Они договорились. Я не дурак. Я просто делаю вид, что дурак, потому что им так легче.

В районной газете это выглядело бы так: «Житель деревни Сосновка, 1979 года рождения, ранее судимый, обратился в ЦРБ с жалобами на боли в эпигастральной области. Назначено лечение». В газетах всегда пишут «назначено лечение». Никто никогда не пишет «назначено обезболивание». Это неприлично, как вынести мусорное ведро на парадное крыльцо.

Через двадцать минут лампочка под ребром гаснет. Не вся, но можно встать.

Печь я растапливаю так, как учил отец. Сначала скомканная газета, потом лучина, потом сухая берёза, и только потом

осина, которая горит медленно и долго, как разговор людей, которым некуда спешить. Спички ломаются. Руки трясутся, и я смотрю на них, как на чужие. Когда-то это были хорошие руки. Ими таскали сено, держали вожжи, потом ими гладили женщин, которые за это платили, потом ими стирали казённые простыни. Сейчас ими нельзя зажечь спичку с первого раза. С третьего можно.

Огонь берётся. Я сажусь на низкую скамейку перед топкой и грею ладони. Это лучшие десять минут дня. Потом начнётся всё остальное: вода, которую надо принести, снег, который надо отбросить от двери, хотя бы на ширину валенка, хлеб, который надо заставить себя съесть.

На полке над столом мои книги. Не все, конечно. Все остались там, где я их оставлял: в общаге, у Ирины, у Светы, в колонии, в библиотеке. Здесь те, что я покупал уже потом, на рынке в райцентре, по десять рублей, у бабки, которая продавала их вместе с банками огурцов. Толстой без обложки. Пушкин в одном томе, мелким шрифтом, с чьими-то подчёркиваниями. «Слово о полку Игореве» в старом школьном издании, с древним текстом слева и переводом справа. Я перечитываю их по кругу. Это единственное, что у меня осталось от прошлой жизни без ущерба.

Читать я начал раньше, чем помню себя.

Библиотека в Сосновке была на втором этаже клуба, над залом, где по субботам крутили кино и устраивали танцы. Внизу гремело, а наверху было тихо, пахло клеем и мышами,

и сидела Вера Павловна. Вера Павловна была старая, в шерстяной кофте в любое время года, и у неё жил кот по имени Цезарь, толстый и злой, как настоящий император. Книг на руки давали по две. Мне было девять, когда я принёс назад «Войну и мир», первый том, через неделю. Вера Павловна не поверила. Она заставила меня рассказать, что там было. Я рассказывал сорок минут. Про Пьера, про старого князя Болконского, про то, как Наташа ворвалась в гостиную с кукулой. Вера Павловна сняла очки и сказала: бери пять.

Я брал пять. Потом пять каждые три дня. Я прочитал Жюль Верна и Дюма, Пушкина и Лермонтова, сказки народов мира в синих обложках, Гоголя, от которого было страшно ночью, Есенина, от которого было страшно днём. Я прочитал справочник агронома и брошюру о профилактике бруцеллёза. Я читал не потому, что хотел стать умным. Я просто не понимал, как можно жить, не зная, чем всё кончилось.

У меня было одно правило, которое я никому не рассказывал. Я никогда не верил авторам на слово, как выглядят их героини. Если было написано «белокурая», «смуглая», «с чёрными косами», мне было всё равно. У всех у них были рыжие волосы, веснушки на переносице и серые глаза Оли Смирновой из параллельного класса. Наташа Ростова была рыжая. Татьяна Ларина была рыжая. Анна Каренина, когда я до неё добрался, тоже была рыжая и тоже смотрела на меня, как Оля Смирнова на линейке, то есть никак. Я за всю школу сказал Оле, может быть, слов двадцать. Ей не нужно было со

мною разговаривать. Она и так жила во всех моих книгах.

К пятнадцати годам книги кончились. Не вообще, а в Сосновке. Я перечитал всё, что стояло на полках, и Вера Павловна, вздохнув, отвела меня в заднюю комнату, где лежали подшивки газет. «Сельская жизнь», «Правда», «Известия», «Огонёк», с пятидесятих годов и почти до самого конца. Никто их никогда не читал. Их хранили, потому что так полагалось. Я сидел там две зимы, под голой лампочкой, и читал страну. Как в одном году пишут одно, а через пять лет то же самое называют ошибкой. Как одна фамилия появляется на первой полосе, а потом пропадает, и больше её нигде нет, как будто человек ушёл в лес за грибами. Я тогда впервые понял, что у всего есть причина, и что причину обычно не пишут. Её надо вычитывать между строк, как следы на снегу.

В деревне это ничего не значило. В деревне я был обычный. Сын Петра Корнеева, того, что тихо пьёт. Вёдра, сено, картошка, дрова, отцовский «Урал» с коляской, который надо было толкать, чтобы завёлся. Кто много носит и возит, тот не растолстеет и дрыщом не останется: у нас никто специально не качался, мышцы росли сами, как огурцы на грядке. На меня никто не смотрел. На меня некогда было смотреть. Мама говорила: опять уткнулся. Отец не говорил ничего.

Отец пил тихо, как пьют люди, которые не хотят никому мешать. Он не дрался, не кричал, не бил посуду. Он садился на крыльцо, и уходил. Не вставая с места, уходил так далеко, что его надо было звать по три раза. Я рано понял, что из

этого места, куда он уходит, можно и не вернуться. И что туда ведёт не только водка.

Только Галя иногда спрашивала, что я читаю. Галя Морозова, соседская, белобрысая, с косой, которую она закидывала за спину, как верёвку. Она ловила рыбу на мостках у старой мельницы, молча, по-мужски, и когда я садился рядом с книгой, не прогоняла. Иногда спрашивала: про что? Я рассказывал. Она слушала, глядя на поплавок. Ей одной было интересно, что у меня внутри, а я этого тогда даже не заметил. В книгах таким девочкам отводили по полстраницы.

Летом девяносто седьмого я окончил одиннадцатый класс. Таня написала из города: приезжай, поступай, поживёшь у нас первое время. На проводах мама плакала в фартук, а отец сунул мне в карман двести тысяч, свёрнутые в трубочку, и сказал: «Ты там, это». И больше ничего не сказал. Я до сих пор думаю, что он хотел сказать. Наверное, «не будь как я». А может, наоборот.

В последнее утро я пошёл на мостки. Галя уже сидела там с удочкой. Туман над водой стоял такой плотный, что поплавок не было видно, и она ловила наугад, на слух.

— Едешь? — спросила она.

— Еду.

— Ну и правильно. Ты не возвращайся. Тут тебе читать нечего.

Я хотел ей что-то ответить. Что-нибудь из книги, красивое, про туман и про разлуку. В голове крутилась целая стра-

ница. Я ничего не ответил. Она дёрнула удочку, на крючке было пусто.

В восемнадцать лет я ещё не знал, что я красивый. Я знал только, что прочитал всё, что тут было. Мне казалось, это главное.

Печь гудит. Берёза прогорела, занялась осина. За окном начинает сереть. Я подкладываю ещё полено и думаю, что надо бы всё-таки поесть. Потом думаю, что Галя тогда была права. Только я понял это на тридцать лет позже, чем было нужно.

Глава 2. Автобус

Таня звонит по воскресеньям в одиннадцать. Можно сверять часы, если бы в доме были часы. Телефон лежит на подоконнике, там лучше ловит, и я иду к нему через всю комнату, держась за спинки стульев, как старик в санатории.

— Ну как ты?

— Нормально.

— Живот как?

— Язва, — говорю я. — Как у всех.

Она молчит на секунду дольше, чем нужно. Таня старше меня на семь лет. Она сорок лет назад так же молчала, когда я спрашивал, почему папа сидит на крыльце и не отвечает. Она умеет молчать правильно, как умеют только медсёстры и старшие сёстры: так, чтобы ты сам не стал спрашивать дальше.

— Таблетки пьёшь?

— Пью.

— Не больше, чем написано.

— Не больше.

Теперь моя очередь врать. Мы с ней давно поделили эту работу поровну.

Потом она рассказывает про внука, про Славину спину, про то, что в больнице опять сократили ставку. Я слушаю её голос и не слушаю слов. Голос у неё стал похож на ма-

мин. Это случилось незаметно, лет пять назад, и я до сих пор вздрагиваю, когда она говорит «ой, ну что ты». В конце она говорит: «Береги себя, Ром», и кладёт трубку первой. Она всегда кладёт первой. Боится, что я скажу что-нибудь, после чего ей придётся отвечать.

В августе девяносто седьмого я ехал к ней шесть часов, на «Икарусе», который пах бензином и чужими курицами. Я сидел у окна и смотрел, как поля сменяются полями, потом посёлками, потом снова полями, и думал, что вот так, наверное, и выглядит путь из одной книги в другую. Как написал бы Гоголь, и какой же русский не любит быстрой езды. Русский, может, и любит. Но «Икарус» шёл шестьдесят, на подъёмах сорок, и кондуктор каждые полчаса будил мужика с заднего сиденья, потому что тот храпел, как трактор, у которого кончается солярка.

На автовокзале было жарко и пахло пирожками с ливером. Таня стояла у колонны, в белой блузке, с сумкой через плечо. Я не видел её два года. Она увидела меня, открыла рот и не сразу его закрыла.

— Господи, — сказала она. — Ромка. Ты когда успел?

— Что успел?

Она не ответила. Она смотрела на меня так, как смотрят на сервант, который купили в рассрочку и ещё не решили, куда поставить.

Я не понимал. Я был тот же, что и в Сосновке. Те же руки, тот же нос, волосы, которые мама так и не успела отвести к

парикмахерше, и они отросли до плеч и вились, как им взду-
мается. Отцовская рубашка, которую мама ушила в боках.
Сумка с книгами, которые я не смог оставить.

Я начал понимать через двадцать минут, в троллейбусе.

Кондукторша, толстая, в синем халате, подошла к нам с
Таней, посмотрела на меня и пошла дальше, не взяв денег.
Таня сунула ей мелочь в спину. Кондукторша не обернулась.
Две девушки на передней площадке смотрели на меня и шеп-
тались. Когда я посмотрел на них, они засмеялись и отвер-
нулись, а потом снова посмотрели. Женщина с авоськой, с
которой мы выходили на одной остановке, придержала мне
дверь. Мне. Восемнадцатилетнему лбу с сумкой.

В ларьке у Таниного дома я купил сигарет. Продавщица
дала мне сдачу на пять тысяч больше. Я сказал ей. Она по-
краснела и сказала: «Ой, ну это вам. На конфеты». Я не знал,
что делать с этими пятью тысячами. Я положил их в карман
отдельно от остальных, как улику.

Таня жила со Славой и трёхлетним Димкой в двухкомнат-
ной панельке на девятом этаже. Мне поставили раскладушку
на кухне, между холодильником и окном. Ночью холодиль-
ник вздрагивал и начинал гудеть, как будто вспоминал что-
то нехорошее. Я лежал и смотрел на огни соседней девяти-
этажки. В каждом окне была своя жизнь. Я пытался угадать,
какая книга про какое окно. Вон то, с жёлтыми шторами, это
Чехов. Вон то, где кто-то курит на балконе в майке, это тоже
Чехов, но поздний.

В субботу у Тани был день рождения. Пришли её подруги из больницы. Шесть женщин от тридцати до сорока, в лучших кофточках, с салатами в банках. Слава ушёл к соседу смотреть футбол. Я хотел уйти с ним, но Таня сказала: посиди, познакомься.

Я посидел.

Это был первый раз, когда на меня смотрели все сразу. Шесть пар глаз. Я ел оливье и чувствовал себя как экспонат в сельском краеведческом музее, рядом с которым висит табличка, а табличку никто не читает, все смотрят на сам экспонат. Света, парикмахер, которая подстригала половину Таниной больницы, протянула руку через стол и потрогала мои волосы.

— Кудри, как у Пушкина, — сказала она. — Не стриги никогда. Слышишь? Никогда.

— У Пушкина были бакенбарды, — сказал я. — И он был маленького роста. Метр шестьдесят шесть.

Света засмеялась так, будто я рассказал анекдот. Все засмеялись. Я не понял, что смешного. Я сказал правду. Потом я понял: смешного ничего, просто им было приятно смеяться, глядя на меня. Неважно чему.

Это я тоже понял не сразу. Что не важно, что я говорю. Важно, что говорю я.

Ночью я встал попить и задержался в ванной перед зеркалом. Дома у нас было маленькое зеркало над умывальником, мутное, с трещиной в углу, и в него смотрелись, чтобы

побриться, а не чтобы посмотреть. А тут было большое, во весь рост, на двери. Я включил свет и посмотрел на себя.

Я смотрел долго. Я пытался увидеть то, что видела кондукторша, и продавщица, и Света-парикмахер. Сначала ничего не видел. Потом увидел. Как будто кто-то перевёл книгу на другой язык, и знакомые слова вдруг стали звучать по-новому. Плечи. Шея. Волосы, чёрные, до плеч. Глаза, которые я всегда считал просто глазами. Я смотрел на этого парня и думал: а ведь да. Ведь правда.

Мне понравилось. Это было первое, что мне в себе понравилось, если не считать памяти.

Экзамены я сдал легко. На истории старый профессор с бородой, похожий на Ключевского, спросил меня про реформы Александра Второго, и я рассказал ему про реформы, а потом про то, что писали о реформах в «Огоньке» шестьдесят первого года, к столетию, и чем это отличалось от того, что писали в семьдесят первом. Профессор снял очки. Совсем как Вера Павловна. Потом спросил, откуда я. Я сказал: из Сосновки. Он сказал: не знаю такого города. Я сказал: это не город. Он поставил мне пять и долго смотрел мне вслед.

Когда пришли списки, Таня обняла меня на кухне, прямо у раскладушки, а потом отстранилась, взяла меня за плечи и сказала очень серьёзно:

— Ром. Ты тут пропадёшь.

— Почему? Я же поступил.

— Не поэтому, — сказала она. — Таких, как ты, тут едят.

Я подумал, что она говорит про деревенских. Про то, что я наивный. Я обиделся и неделю с ней почти не разговаривал. Только потом, много позже, я понял, что она имела в виду. Она тридцать лет работает медсестрой. Она видела, что бывает с людьми, у которых чего-то слишком много. Сахара в крови, давления, красоты. Это всё одна болезнь.

Сейчас я кладу телефон экраном вниз на подоконник и смотрю в окно. Снег. Лес. Дорога к остановке, которую никто не чистит. Где-то там, в шести часах на автобусе, Таня, наверное, сидит на кухне и плачет. Тихо, чтобы Слава не услышал. Она тоже не дура. Она тоже знает, что я знаю.

Мы оба делаем вид. Это у нас семейное.

Глава 3. Лена

Ночью не сплю. Не от боли даже, боль сейчас тупая, ватная, как телевизор у соседей. Просто не сплю. Лежу и читаю при свете настольной лампы, которую привёз ещё из города. Читаю «Обломова», в который раз. Илья Ильич лежит на диване, я лежу на кровати, нам обоим некуда спешить. Разница в том, что у него был Захар и у него было время. У меня есть таблетки на блюде и время, которое кончается.

Я замечаю, что читаю медленнее. Раньше я глотал страницу за полминуты. Сейчас перечитываю абзац два раза, потому что первый раз слова проходят мимо, как поезд мимо полустанка. Это тоже симптом. В инструкции про это ничего нет.

На первом курсе я читал быстрее всех.

Исторический факультет занимал старое здание на набережной, с колоннами, с лестницей, на которой всегда кто-то курил, и с аудиториями, где зимой не снимали пальто. Нас было на курсе пятьдесят человек, сорок одна девушка. Я узнал это в первый же день, потому что сорок одна девушка повернулась, когда я вошёл в аудиторию.

Я сел на последний ряд. Это не помогло.

Лену Воронцову я заметил не сразу. Она сидела на первом ряду и не повернулась. Единственная из сорока одной. Очки, хвост, серый свитер, который был ей велик. Она пи-

сала конспект так, как будто от этого конспекта зависела её жизнь, и, как я потом узнал, так оно и было: мама у неё была доцентом кафедры новой истории, папы не было вообще, и Лена должна была стать доцентом тоже, иначе мир треснет пополам.

Она повернулась на третьей неделе. На семинаре по истории России преподаватель, молодой и злой, рассказывал про Земский собор тысяча шестьсот тринадцатого года так, как рассказывают в учебнике: собрались, выбрали, началась династия. Я поднял руку. Я сказал, что в учебнике не пишут, кто стоял за выбором и почему выбрали шестнадцатилетнего мальчика, а не кого-то из взрослых и сильных. Что слабый царь был удобен всем, кто его выбирал, и что эта логика потом повторялась в нашей истории ещё не раз. Я говорил минут пять. Преподаватель сначала злился, потом перестал злиться, потом сказал: «Корнеев, а вы откуда это взяли?» Я сказал: читал. Он сказал: что именно? Я перечислил. Он записал две фамилии себе в блокнот.

После семинара Лена догнала меня на лестнице.

— Ты правда это всё читал?

— Правда.

— А почему ты сидишь сзади?

Я не знал, что ответить. Сзади было тише. Сзади на меня смотрели в затылок, а не в лицо.

Мы стали ходить вместе. В библиотеку, в столовую, по набережной до моста и обратно. Лена разговаривала со мной.

Это было самое удивительное. Не смотрела, а разговаривала. Спорила. Говорила: «Нет, ты не прав, смотри», и доставала из сумки книгу с закладками. Она приводила меня к себе домой, в квартиру, где книги стояли не только в шкафах, но и на подоконниках, и на холодильнике, и стопкой у дивана. Её мама, Нина Аркадьевна, поила меня чаем с лимоном и спрашивала про Сосновку с тем вежливым интересом, с каким спрашивают про Новую Гвинею.

Я почти стал кем-то в той квартире. Почти. Лена составила мне список. Что прочитать, какие курсы взять, какую тему выбрать для курсовой. Я выполнял список. Мне нравилось, что кто-то знает, куда мне идти. Как сказал бы Лев Толстой, если бы ему пришлось описывать эту осень: «Он чувствовал, что жизнь его, прежде бессмысленная, вдруг получила направление, и направление это шло через первый ряд аудитории номер двенадцать». Толстой написал бы длиннее. Но смысл был такой.

Проблемы начались с её друзей.

У Лены была компания. Дети преподавателей, мальчики в свитерах с оленями, девочки, которые курили тонкие сигареты и говорили «апофатический». Они собирались по пятницам у кого-нибудь на кухне, пили портвейн и спорили о судьбах России. Лена привела меня в первую же пятницу.

Сначала всё было хорошо. Девочки смотрели на меня. Мальчики смотрели на девочек, которые смотрели на меня, и это было хуже. Потом заговорили о девяносто третьем го-

де, и Вадик, сын профессора философии, сказал что-то про то, что это была случайность. Я сказал, что случайностей в истории не бывает, бывают причины, которые не успели записать. И рассказал, где эти причины, по годам, с семьдесят девятого. Вадик пытался спорить. Я знал больше. Я не хотел знать больше, я просто знал. Подшивки, две зимы под голой лампочкой.

На кухне стало тихо.

— Ну ты даёшь, — сказал наконец Вадик. — Ты это откуда цитируешь? Из «Брата», что ли?

Все засмеялись. Я не понял.

— Это фильм, — сказала Лена тихо. — Ты не смотрел?

Я не смотрел. У нас дома не было телевизора. Отец однажды купил его в райцентре, старый, чёрно-белый, и через неделю тот сгорел вместе с пробками, и больше никто не покупал. Я не понимал кино. Я и сейчас не понимаю. Зачем смотреть то, что кто-то придумал за тебя? Лица, голоса, комнаты. В книге ты всё делаешь сам. Ты сам решаешь, какого цвета шторы и какие волосы у героини. В кино тебе принесут готовое, как в столовой, и ты ешь, что дали.

В ту ночь, когда мы шли от Вадика к троллейбусу, Лена молчала. Потом сказала:

— Ром. Ты не мог бы не так... громко.

— Что громко?

— Умничать. Ты их всех задавил. Они обиделись.

— Я же не хотел.

— Я знаю. Но ты бы видел себя со стороны.

Со стороны себя видели все, кроме меня. Со стороны я был красивый деревенский парень, который вдруг заговорил как профессор. Это было неправильно. Это было как если бы корова в стойле вдруг заговорила человеческим голосом про Канта. Корова может быть красивой. Может даже давать хорошее молоко. Но про Канта ей не положено.

Лена ещё долго была со мной. Почти год. Я до сих пор не знаю, любил ли я её. Я знаю, что мне с ней было спокойно, как в библиотеке Веры Павловны, и что она была единственной в городе, кто разговаривал со мной, а не смотрел. Я думаю, этого должно было хватить. Тогда мне казалось, что не хватает.

Илья Ильич на странице двести сорок всё ещё лежит на диване. Штольц уже приехал и тормозит его. «Ну, Илья, что ж ты?» Мне всегда было жалко Обломова больше, чем Штольца, хотя прав Штольц. Правые никогда не бывают жалкими. На то они и правые.

Я выключаю лампу. В темноте боль становится громче, как звук в пустой комнате.

Глава 4. Кудри

Утром провожу рукой по голове. На ладони остаются волосы. Немного, штук пять. Седые, тонкие, мокрые от ночного пота. Раньше я бы их посчитал. Сейчас просто стряхиваю на пол.

Зеркала в доме нет. Вернее, есть, в маминой комнате, над комодом, но оно завешено старым платком с цветами, с тех пор как умер отец. Мама так и не сняла платок. Потом умерла мама, и я его тоже не снял. Сначала потому, что так положено. Потом потому, что не хотел видеть, что там. Я и так знаю, что там. Там мужик сорока семи лет, жёлтый, с редкими волосами и животом, который болит. Его не надо видеть. Его достаточно чувствовать.

А когда-то люди хотели меня потрогать.

На втором курсе я ушёл от Тани в общагу. Не потому, что поругались. Просто Димка подрос, и раскладушка на кухне стала мешать всем. Мне дали койку на четвёртом этаже, в комнате с двумя геологами, которые днём спали, а ночью пили и играли в преферанс. Душ был в конце коридора, общий, по графику: мальчики по чётным, девочки по нечётным.

К ноябрю график перестал соблюдаться.

Я не делал ничего. Это важно. Я хочу, чтобы это было понятно хотя бы мне самому: я ничего не делал. Я ходил на лекции, сидел в библиотеке, по вечерам гулял с Леной. Осталь-

ное происходило само, как погода. В дверь стучали. Приносили пирожки, конспекты, кассеты с музыкой, которую я не слушал. Просили помочь передвинуть шкаф. Шкафы на четвёртом этаже в ту зиму передвигались чаще, чем за всю историю общежития.

Как написали бы в женском романе с лошадьёю на обложке: «Его кудри сводили с ума всех девушек общежития, и ни одна не могла устоять перед его взглядом». В жизни это выглядело так. Юлька с третьего курса и Марина с филфака подрались в душевой из-за того, кто первая пойдёт со мной в кино. Подрались по-настоящему, с выдранными волосами и разбитой губой. Комендантша, тётя Зина, вызвала меня к себе в каморку и сказала: «Корнеев, ты мне всё общежитие разнёс». Я сказал, что я в душевой даже не был. Тётя Зина посмотрела на меня долго, как на стихийное бедствие, против которого бессильны все инструкции, и сказала: «Вот именно».

Потом были записки. Подкинутые под дверь, в карман куртки, в учебник по источниковедению. Анонимные. Одни признавались в любви, другие сообщали, что Юлька на самом деле спит с аспирантом, а Марина больна чем-то нехорошим. Кто-то нацарапал на двери моей комнаты слово, которое я не буду повторять. Кто-то отрезал рукав у моей единственной хорошей рубашки, пока она сохла на верёвке. Я до сих пор не знаю, кто. Подозреваю, что из любви.

Я не понимал, что происходит. В книгах так не было. В

книгах женщины страдали красиво, с письмами, с отъездами в имение, с туберкулёзом. В общаге страдали некрасиво: с криками в коридоре, с битыми тарелками, с тем, что тебя поджидают на лестнице и плачут в рукав твоей куртки, а ты стоишь и не знаешь, куда деть руки.

И я не умел сказать «нет».

Это было хуже всего. Я мог бы перечислить причины Смутного времени в хронологическом порядке. Я мог бы объяснить, почему пала Византия. А сказать девушке, которая пришла ко мне в одиннадцать вечера с бутылкой «Монастырской избы» и в халате на голое тело, «нет, извини, у меня Лена», я не мог. Слово застревало где-то между горлом и зубами, как кость.

Марина пришла в декабре. Геологи были на практике. Как написали бы в том самом романе: «Он взял её грубо, и она трепетала в его руках, как осиновый лист». На деле было не так. В комнате было холодно, батарея не работала, у Марины были ледяные ноги, и она всё время спрашивала, нравится ли мне, и я говорил «да», потому что не умел сказать ничего другого. Пахло её лаком для волос и мокрыми носками геологов, которые сушились на подоконнике. Потом она плакала. Я не понял почему. Она сказала: «Ты даже не смотришь на меня». Это была правда. Я смотрел в потолок и думал, что Лена сейчас, наверное, пишет конспект.

Лене сказала Юлька. Конечно, Юлька. Из мести Марине и из любви ко мне, это в общаге было одно и то же.

Лена не устраивала сцен. Она пришла в библиотеку, где я сидел, положила на стол книгу, которую я ей давал, «Историю государства Российского», третий том, и ушла. Ни слова. Я открыл книгу. Там лежала закладка. Лена остановилась на той странице, где Карамзин описывает, как Иван Третий разорвал ханскую грамоту и сказал своё «нет» Орде. Я не знаю, специально она там остановилась или просто дочитала до этого места. Я думаю об этом двадцать семь лет.

Я пытался с ней поговорить. Она говорила: «Не надо, Ром. Ты не виноват. Ты просто такой». И это было хуже, чем если бы она кричала. «Такой» значило: ты не можешь иначе. Ты как погода. На погоду не обижаются, от неё просто уходят под крышу.

В феврале Лена перевелась на заочное. Потом уехала с мамой в другой город, мама получила там кафедру. Больше я её не видел.

А кудри мои всё росли. Света-парикмахер, Танина подруга, иногда звала меня к себе в салон подровнять концы. Бесплатно. Она мыла мне голову сама, и руки её задерживались на затылке дольше, чем нужно для мытья. Девочки-мастера выглядели из-за перегородок. Однажды Света сказала: «У нас тут конкурс скоро, модельные стрижки. Будь моей моделью, а? Хозяйка будет смотреть».

Я сказал «да». Я всегда говорил «да».

Хозяйку звали Ирина.

Сейчас я надеваю шапку, хотя дома тепло, потому что не

хочу чувствовать, как волосы липнут к подушке. В шапке я похож на отца. Отец тоже носил шапку дома, в последние годы. Я тогда думал, что он мёрзнет. Теперь думаю, что у него тоже было что-то, на что он не хотел смотреть.

Глава 5. Ирина

Таня присылает деньги в начале месяца. Перевод приходит на карточку, а карточка нужна, чтобы снять деньги в районе, а в район надо ехать на автобусе, а на автобус надо дойти до остановки, а до остановки два километра по нечищенной дороге. Я давно не езжу. Михалыч ездит раз в неделю и снимает мне сколько надо. Я даю ему карточку и пин-код. Если бы Михалыч хотел меня обокрасть, он бы давно обокрал. Но красть у меня нечего, и он это знает лучше меня.

Когда-то у меня были деньги. Не мои. Это важное уточнение.

Конкурс модельных стрижек проходил в мае двухтысячного года, в зале Дворца культуры железнодорожников. Света сделала мне что-то невероятное, волосы стояли и падали одновременно, как волна на картине Айвазовского. Я сидел на стуле посреди сцены и смотрел в зал. В зале смотрели на меня. В первом ряду, с краю, сидела женщина в светлом костюме и не хлопала, когда хлопали все.

После конкурса она подошла ко мне за кулисами.

— Ирина Владимировна, — сказала она и протянула руку. Не для поцелуя. Для пожатия, как мужчине. — Сеть «Ирэн». Света у меня работает.

Ой, подумал я, сейчас будет про стрижку.

— Что вы читаете? — спросила она.

У меня из кармана куртки торчала книга. Я достал её. Ключевский, курс русской истории, третья часть. Ирина Владимировна взяла её, полистала, посмотрела на мои пометки на полях. Потом посмотрела на меня. Совсем не так, как смотрели остальные. Не на волосы, не на плечи. В глаза. Как будто там, за глазами, было что-то, что её интересовало.

— Поужинаем? — сказала она.

Ей было сорок четыре. Мне двадцать один. Я пошёл с ней ужинать не из-за денег. Я хочу, чтобы это было понятно. Я пошёл потому, что она спросила, что я читаю. Потому что посмотрела в глаза. Мне показалось, что вот она, взрослая, умная, видевшая жизнь женщина, которая будет со мной разговаривать. Не трогать кудри, не драться в душевой, не подкидывать записки. Разговаривать. О Ключевском. О том, почему у нас всё так, как есть. О том, что я думаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.